

КОЖУШОК

1

Когда у человека в доме начнут оставаться недоеденные, зачерствевшие куски хлеба и их станут копить в кухонном шкафу и отдавать по четвергам молочнице, когда жена человека начнет жаловаться знакомым, что толстеет, а в головах супругов забродят мечты, соответственно окладу — о патефоне, о велосипеде, о поездке в Крым, — вот тогда можно появляться писателю, скульптору, художнику. Писатель начнет наполнять киоски и библиотеки книжками в удобных переплетах, с удобным стилем, новизной и мыслями. Художник и скульптор фиговыми листами своего творчества прикроют наготу мещанских обоев...

Но сейчас!.. Не до жиру, быть бы живу! Живопись и стихи, конечно, — культурный жирок, нарастающий на сытом мясе.

Так рассуждал Евгений Удинцев.

Он не тешил себя мечтаниями, черноволосый юноша с хитрыми глазами. Он знал, что голодать будет долго и крепко, до писка в кишках.

Он ходил по улицам города и ел глазами крендели на уцелевших старых вывесках, пайковый хлеб в руках женщины, облизанные ириски в ящичке чахоточного беспризорного.

С табаком у него обстояло благополучно: табак он крал у добрейшего Бориса Яковлевича, который ежедневно с неослабевающим восторгом рассказывал, как он прежде получал семьдесят пять рублей и как прекрасно жил на них.

Юноше рассказать взамен нечего. Борис Яковлевич уже знает, что юноша очутился без денег и документов, если не считать потрепанной профсоюзной книжки, из которой явствует, что хозяин ее, Евгений Удинцев, не платит в профсоюз с апреля по декабрь; еще знает, что художнику в чужом городе, да еще в такое время — гибель. Он говорит сочувственно:

— Дернуло же вас стать художником!

Евгений Удинцев вздыхает и молчит. Он знает: отечески выбравив его за то, что он художник, Борис Яковлевич предложит табаку.

Удинцев завернет тоненько, деликатно, а когда хозяин отвернется, сунет себе горстку в карман.

С табаком в кармане повеселеет, загордится, будет бегать по улицам и угадывать:

«Откуда же свалится счастье, которое должно свалиться? Уж не этот ли вон старичок подойдет и скажет: я понял сразу, что вы художник, сделайте мой портрет, я умру спокойно и оставлю вам спрятанное в тайниках золото?»

Удинцев вглядывается в лицо старика, изучает каждую черту. Что ж, написать такое лицо занятно. Мускулы, сложившиеся, чтобы повелевать, и обвисшие, потому что повелевать стало нечем. Впалые глаза — старый пес, выглядывающий из конуры черепа. И великолепный череп — череп, который обтачивался веками, совершенство-

вался поколениями, а теперь — словно древняя этрусская ваза, и не прочесть на ней древние письмена морщин.

Старик уходит, и художника охватывает отчаяние:

«Кто же обратится ко мне с заказом, когда одет я в грязный, драный кожушок, от которого воняет овчиной и теплушкой, а на голове у меня летняя кепка, отнюдь не создающая впечатления благополучия, тем более если ее носят в январе».

Художник проклиная кожушок и кепку, но вдруг его поражает мысль:

«Нос! Я не рассмотрел носа!»

Круто поворачивает, расталкивает прохожих, и его поминутно могут принять за убегающего вора.

Вон он, вон он, переходит улицу — старик с великолепным черепом!

Удинцев делает петлю, перебегает на другую сторону и идет навстречу старику. Но теперь он уже издали видит, что это другой старик, самый обыкновенный кассир или счетовод из земской управы, а теперь, вероятно, служит в наробразе и подсчитывает учительские гроши.

Удинцев обзлен на старика кассира. Он подходит к нему вплотную и произносит:

— Вы кассир из наробраза?

Старик, видимо, глуховат. Он начинает объяснять дорогу в отдел народного образования. Удинцев выслушивает его и, мрачный, возвращается домой.

2

Во время голода не следует читать Гоголя и Мельникова-Печерского. Оба нестерпимо много пишут о еде. Хорошо читать путешествия. Читаешь и думаешь, что голоден, так как еще не доехали до остановки. Вот кончится глава, расположимся караваном около оазиса — и появится вяленое мясо и финики.

Удинцев пробовал ходить по учреждениям, искать заказы. Сторонятся, словно боятся, что потрясет на них насекомых, и в один голос посылают в собес.

«Проклятый кожушок уморит меня голодной смертью, — ропщет Удинцев. — Будь лето — заштопал бы локти толстовки и имел бы в кепке приятный, трудящийся вид. А теперь похожу на сыпнотифозного, сбежавшего из барака».

Подстриг ножницами ключья меха, торчавшие из рукавов, из-за воротника. Стало как будто лучше. Хотел вымыть, да Борис Яковлевич отсоветовал: говорит — сморщится и затвердеет.

Тогда разостлал колушок на полу, вынул краски. Минуту разглядывал темно-желтый матовый фон. Быстро запечатлел на одной поле жабу, построенную кубически и в зелено-синих тонах. Рядом с жабой на другую полу посадил дракона, лоскутного, доброго дракона, который не ест людей. На спине колушка появился всеми красками палитры написанный голодный волк с глазами на животе, а рукава покрылись футуристическими орнаментами.

Когда работа была закончена, позвал Бориса Яковлевича.

— Да,— сказал Борис Яковлевич, посмотрев на сверкающий, горлающий красками колушок.

Ничего не добавил и ушел в свою комнату.

Странный этот Борис Яковлевич! Футуризм он принимает как личное оскорбление. Словно его хотят надуть, а он догадается и скажет: «Что ж вы, совсем за дурака меня принимаете?»

Удинцеву хотелось после работы курить, но пойти к Борису Яковлевичу не решался. Слушал, как тот шагает у себя в комнате из угла в угол, и живо представлял себе широкую оттоманку, зашитую поверх ковровой обивки холстом, «чтобы не изнашивалась и буржуазным видом в глаза не лезла», и стол, на котором желтый от осадка кирпичного чая стакан и все, выдержанное в бурожелтых тонах: трубка, старинный томик Диккенса и главное, что стояло перед глазами Удинцева четко, со всеми мельчайшими подробностями,— коробка с табаком.

Она — небольшая, деревянная, из-под печенья. Оклеена цветной бумагой — бледно-желтое и коричневое. Несколько женских белокурых головок со стаканами какао — на крышке... и хороший, крепкий табак цвета какао с лимонными блестками — внутри...

Скрипнула дверь. Быстрыми шагами подошел к колушку Борис Яковлевич. Показал на волка:

— Что означает?

— Волка. Вот хвост, вот голова.

— А почему глаз у него на брюхе?

— Потому что он голоден и видит брюхом.

— Обидно! — закричал Борис Яковлевич и опять убежал в свою комнату.

«Видно, без табаку придется лечь», — вздохнул Удинцев.

И вдруг вспомнил:

«Кепка!»

Вскочил, осмотрел: кепка плохая и к тому же летняя. Сделал по ней несколько мазков, примеряясь. И вдруг понял, что здесь обязательно должна свернуться дикая кошка.

Бросился к двери Бориса Яковлевича. Не спит еще.

Выпросил две блестящие пуговицы от форменного пальто, пришел их близко одну к другой. Это кошачьи глаза, остальное договорили краски, косматые, безудержно веселые мазки.

Кошка удалась лучше дракона, жабы и волка. Удинцев очень жалел, что Борис Яковлевич уже лег спать.

3

Квартирная хозяйка — тихая, как устрица. За время, которое Удинцев у нее прожил, он слышал от нее три одноцветные комбинации слов:

1. Ох, как есть хочется!

2. Ох, как спать хочется!

3. Зима нонче долгая.

Часто за целые сутки хозяйка выпускает одну только фразу. Но иногда, вступая с кем-нибудь в разговор, выпаливает все три подряд.

Впервые хозяйка обновила свой репертуар в то утро, когда Удинцев прошел мимо в своем «офутуренном» колушке.

Она долго смотрела, перестав жевать, положила закусанный ломоть хлеба на стол, глотнула и сказала:

— Фу-ты господи, как вы меня заинтересовали!

Удинцев подумал, выходя, что если у Бориса Яковлевича преобладает табачный цвет (у него даже усы табачные), то для хозяйки единственная краска — розовая, отлежанного оттенка, цвет этакого бабьего мякиша.

Вышел на улицу, а розовая хозяйка и там ситчиком расплзлась по небу, стала наливать малиновым, оранжевым, карминным, крутнула подолом и всеми цветами занялась...

И город, и надежды, и думы Удинцева — все стало пестрым и отчаянным, как кожушок.

Три дня Удинцев возлежал дома, как бог, сотворивший три порции населения земли. Кожушок сох. Едва ли бог возлагал столько надежд на сохнущего Адама.

Кожушок высох, и вот уже Удинцев идет по улице, а за ним следует толпа.

Он прогуливается по главным улицам города. Походка его непринужденна. Он насвистывает и обозревает дома. Да, из всего видно, что он нездешний, ходит и осматривает город. Может быть, актер. Может быть, иностранный подданный. Но вот кто-то бросил летучее слово, и в толпе пронесся вздох облегчения. Это чиновник из «бывших» взглянул мимоходом и пояснил:

— Футурист.

Всем стало удобно, весело, приятно.

— Смотрите, футурист идет!

— Я сегодня видел футуриста.

Кто-то растолковывает «содержание» волка:

— Это Африка, я сразу узнал. А все вместе, спереди и сзади, означает земной шар.

— Зачем же он Африку на заднем месте нарисовал?

— Куда же он тебе ее денет, если спереди места нет?

— Товарищи, нельзя так. Куда прете?

— А вот смотрим, нарисованный человек идет.

— Все равно нельзя. Не знаете революционного порядка.

— Мамонька, смотри ты, и шапка!

Удинцев чувствует: довольно. Так чувствуют по пузырькам, что пора снимать с огня кашу.

Удинцев поворачивает в переулок, еще в переулок и оставляет зрителей далеко позади.

Хозяйка встречает словами:

— Зима понче долгая.

Удинцев идет к себе в комнату, и вскоре хозяйка приносит чай и хлеб. Она кормит Удинцева в дни душевных потрясений: получила сообщение о смерти племянника в Туле — и покормила; вызывали ее в Чека — покормила. Сегодня потрясение зрительного порядка — поэтому и ломать потоньше, чем в прошлые разы.

Вернувшись со службы, Борис Яковлевич опять долго ходил у себя по комнате и опять быстро вбежал, ткнул на волка и — скороговоркой:

— Глаз на животе признаю.

Ему сделалось страшно. В комнате у него висели олеографии Шишкина и Левитана, он сбежал, посмотрел на них, вернулся снова и ткнул на кепку с кошкой:

— Это не признаю. Не могу.

4

Удинцев берет ящик с красками. Садится на самом людном месте — здесь несколько ступеней ведут в нижнюю часть улицы, и образуется водоворот.

Пишет эскиз. Холодногато.

Толпа запрудила улицу, охрана города мечется и не может ничего понять. Наконец протискались к Удинцеву.

— Гражданин!

Удинцев не шелохнулся.

— Гражданин!!

Схватил за плечо, но увидел волка.

— Товарищ, что же вы нарушаете проход и проезд?

— Уберите толпу, они мне мешают, а я сижу и пишу революционный город.

— Нехорошо, товарищ, все-таки вы сознательный, а запружаете улицу!

Удинцев поднял нос, понюхал и подумал внятно:

«Момент назрел».

Он давно высмотрел оторванную ржавую вывеску, лежавшую во дворе. На ведра она не годилась, перержавела, и ее охотно уступили Удинцеву.

И вот — днем он гуляет, вечером расписывает ржавое железо. Взрывы кадмия лимонного, оранжевых тонов и краплака. Это — движущийся народ. Движение беспорядочно, но вот приходит некий Порядок и организует беспорядочный взрыв красок в крутые спиральи.

Крупная надпись внизу:

«Евгений Удинцев — городу».

Эту картину он подарит городу. Он уже выбрал для нее место и даже подговорил троих молодцов помочь. Вызвался пойти посмотреть, что будет, и Борис Яковлевич.

— Какой смысл? — терзался он дорогой, помогая тащить железную громадину.

День выбран был воскресный, город кипел народом, и у фасада каменного дома сбилась такая толпа, словно вешали колокол или живого человека.

Когда приволокли лестницу, а в руке Удинцева завилялся молоток, подошел милиционер и сказал Удинцеву:

— Пожалуйте!

Рыжий, словно утюгом спалили, верзила весело подхватил:

— Пожалуйте бриться!

Милиционер привел к какому-то дежурному и, легонько подталкивая вперед, доложил:

— Вот, гражданин картину вешает,— и кашлянул, чтобы подавить набегавшую улыбку.

— Ваши документы! — не вслушиваясь, протянул руку дежурный.

Удинцев порылся в карманах и сунул ему потрепанную профсоюзную книжку.

— Других не имеется? — спросил дежурный, заметив жабу и дракона, но делая безразличное лицо.

Удинцев стал объяснять, что он художник, что он хочет подарить городу картину, что довольно повисели картины по барским салонам, пора тащить их на улицу и развешивать по заборам, чтобы пролетариат, голодный волк, насыщал свои голодные глаза весельем красок и линий; что документ у него, Удинцева, действительно неважный, но что его знают в Москве такие-то и такие-то лица.

Тут он, как бы невзначай, назвал по имени-отчеству высокопоставленное лицо, выбрав покрупнее.

Затем скромно опустил глаза и замолчал, покашливая только, когда урчало в животе, потому что урчанье могло испортить впечатление от речи.

Дежурный понравился Удинцеву. Он был весь серый, и глаза серые, подернутые пеллом, как бывает от бессонных ночей, проведенных на дежурстве, и гимнастерка, и лицо — все было серое, но не болезненное, приятное.

Вот он хмурит брови и еще раз просматривает зачем-то профсоюзную книжку.

— Так,— говорит он одобрительно.— А стихов вы не пишете?

Сказал и рассмеялся дробно, не по-дежурному. Потом строго:

— Идите вешайте, имеете полное право!

И научил, где и как выписать новые документы.

Дал свой адрес, и Удинцев пошел продираться через толпу, весело покрикивая:

— Позвольте, граждане! Позвольте!

Борис Яковлевич совсем раскис. Даже когда узнал, что все улажено и в порядке, шепнул на ухо:

— Сейчас-то позволят, а ночью придут и обыск делают.

В толпе тоже знали о разрешении.

— Позволили!

— Ну-у?

— А что ж они плохого делают?

— Я бы так не позволил. С какой стати?

— Может, которые переодетые городовые, так им не нравится, а по-нашему, по-советски,— пожалуйста, нам убытку мало!

И вдруг толпа заволновалась:

— Идут!

— Вот так позволили!

— Заметут голубчиков! — обрадовался чему-то рыжий, хотя только что помогал и держал лестницу.

Шестеро с винтовками пролезли к забору. Это оказалась охрана, присланная дежурным.

Борис Яковлевич прибодрился. Удинцев стал прибивать картину, звучными ударами забывая гвозди и стараясь попадать между кирпичей.

Толпа следила за каждым движением. Удинцев сел на заборе и произнес речь. Говорил о футуризме, о плакате и даже вкратце объяснил картину, рассказывая, где взрывается гнев рабов, где прорастает организованная революция.

— Ты нам и шубу свою объясни! — крикнул кто-то, но Удинцев уже спрыгнул с забора и через задворки выбрался в глухой переулок.

— Дела идут отлично,— сказал он здесь Борису Яковлевичу и погромел гвоздями, насыпанными в карман кобушка.

— Нет,— схватился за голову Борис Яковлевич,— мне еще надо подумать.

«Это он сыт каждый день — вот и надо ему подумать», — усмехнулся мысленно Удинцев.

Он не ел уже много дней, отчего в теле была необычайная легкость. Казалось, что он не идет, а летит низко над землей.

— Ну, чего еще подумать? — спросил, не сердясь, не зло.

— Я еще не решил, шарлатанство это или... не шарлатанство...

Удинцев видел, что его крючило, корчило, корежило. Рассмеялся, похлопал по спине:

— Ну и путаный!

Через несколько дней пришло приглашение от Политпросвета. Обещали сделать заказы, писали почтительно, вежливо, знали откуда-то и фамилию, и адрес.

Удинцев сдвинул кепку на затылок и пошел.

5

— Портреты. Плакаты. Еще плакаты. А главное — декорации. О декорациях переговорите с товарищем Кузнецовым, пятьдесят восьмая комната. Портреты — это в сто одиннадцатой. Надолго вы приехали? Надо будет использовать полностью, а то у нас глухо, футуристов — всего один, и то так себе, немного даже сумасшедший. Вы уж не удирайте очень скоро в Москву.

Говорят сразу пятеро: заведующий отделом, два заведующих подотделами и два заведующих секциями.

Удинцев важно восседает на перегородке, отделяющей «здешних» от «нездешних». Курит предложенную ему папиросу и сидит прямо, чтобы не морщился волк.

Удинцеву весело, он сам себя чувствует волком, у него тоже на животе глаз, он смотрит на всех голодным животом и угадывает, что заведующий отделом, вероятно, пил утром ячменный кофе и ел пайковый хлеб с пайковым маслом, а вот этот, коротенький, хотя и заведующий всего-навсего секцией, а, наверное, в животе у него не пайковый хлеб, а домашние пирожки из муки, которую привез из уезда.

Удинцеву весело, и веселье излучается от него на всех. Удинцев шепчет себе:

«Стоит только сказать, и они выпишут ордер».

Но он медлит и говорит о стилях, о Бурлюке и значении зауми.

Вдруг толстенький заведующий секцией вскакивает со стула и хватает за рукав Удинцева.

— А вы на лице никогда не рисуете? На щеке, например?

Спросил, выговорил то, что на языке давно лежало и мешало, щекотало, выпустил рукав Удинцева и сел на свое место.

— Да, и на щеке, — ответил Удинцев, — я все могу, хоть уши позолотить.

— Вот если бы вы лекцию прочли да диспут у нас закатали! Хорошо бы?

«Пора, пожалуй, об ордере? Или еще рано?» — думает Удинцев, весело поглядывая на собеседников.

— Ваша картина, подаренная городу, очень хороша. В пей много динамики.

— Это автопортрет?

— Ничего подобного. «Город-спрут».

— Дайте же самому художнику сказать.

— Гм... Видите ли, в одной плоскости это автопортрет, как и всякий мазок, сделанный художником, — автопортрет. Но, с другой стороны, и «Город-спрут». Картина написана в трех плоскостях. Третья тема — претворение бунта в организованное восстание.

Точные условия выполнения заказов. Приглашения в гости («К толстенькому не пойду — противный», — решил Удинцев). И наконец — главное: авансовый ордер и касса.

Вдруг Удинцев почти падает с перегородки. Мимо прошмыгнул, стараясь быть незамеченным, старик с великолепным черепом — тот самый, который исчез в прошлый раз бесследно.

Удинцев срывается с места и гонится за стариком по коридору с криками:

— Нос! Нос!

Возвращается обратно и возбужденно расспрашивает:

— Кто этот старик?

— Наш рассылный.

— Не можете ли дать его адрес?

— Конечно. Ваш знакомый?

— Видите ли, его лицо мне нужно для картины. Я, собственно, из-за его лица и задержался в вашем городе. Он мне нужен для картины, которая будет называться «Русь уходящая». Если он согласится мне позировать, я черт знает сколько ему заплачу.

Удинцев хлопает себя по карману кожанка. Там звякают гвозди.

Все радостно смеются. Шуточки! И их город чем-нибудь да может пригодиться. Иди-ка найди в другом го-

роде рассыльного, с которого можно писать картину «Русь уходящая»! Из Москвы приезжают! В Москве, поди, рассыльных тысячи, да, видно, рассыльный рассыльному — рознь.

Почему-то недоволен только коротенький заведующий секцией.

6

— Здесь живет товарищ Пойгин?

— Он на службе.

— Видите ли, я хочу... Да пустите меня.

— Говорите через дверь.

— Я хочу обождать товарища Пойгина.

— В квартиру я вас все равно не пущу. Может быть, вы грабитель.

— Какой же я грабитель!

— Ну, вот что, идите пройдите мимо окон, я посмотрю, какой вы, тогда, может быть, пущу.

Удинцев чертыхнулся и стал прогуливаться перед окнами, делая нестрашное, симпатичное лицо.

Невидимый глаз рассматривал его через дырочку в занавеске. Вскоре на крыльцо выскочила девушка и смущенно крикнула:

— Идите же, чего вы гуляете! Сказали бы сразу, что футурист.

Удинцев обернулся и увидел, что девушка — рыжая, с золотыми ресницами вокруг индиговых глаз.

Художники знают, какое цветистое, богатое тело у рыжих женщин. Удинцев схватил себя за раскрашенную кепку и с отчаянием подумал:

«Теперь я пропал!»

Девушка ждала на холоде, иней уже начал превращать ее золотые волосы в белый парик. Удинцев спохватился:

— Идемте же скорее, вы простудитесь.

Странный был вид квартиры рассыльного. Прямо против двери стоял прекрасный диван, затянутый, как оттоманка Бориса Яковлевича, грязной холстиной. Над диваном на английской булавке прикреплен портрет Ленина, и сразу видно, что портрет привешен не любовно, а так, как кресты вешают евреи во время погромов: господи, прonesи. В этой же комнате — в столовой с важным,

как швейцар, буфетом и напыщенными люстрами, подвесками и шторами — шикарная никелированная кровать. Тут же, возле кровати, стариковские туфли, стоптанные в пятках. Удинцев не предполагал, что в эти годы может быть в России такая столовая. Напыщенность и роскошь лезли здесь из всех углов. Не вязалась со всей обстановкой только картина около буфета — «Девятый вал» Айвазовского в дешевой, простенькой рамке. А через открытую дверь видно было что-то розовое и кружевное. Конечно, там комната рыжей девушки.

«Знаем мы таких рассыльных! — усмехнулся Удинцев. — Но зачем она рыжая? Пропал я, пропал!»

— Какой вы... любознательный! — с досадой сказала девушка и захлопнула двери в соседнюю комнату.

— Как вас зовут? — спросил Удинцев.

Девушка ничего не ответила.

Удинцев опять начал рассматривать комнату, придумывая, как он объяснит рассыльному причину своего прихода. С Удинцевым часто случалось, что сперва он что-нибудь делал, а потом подводил под свой поступок какое-нибудь более или менее убедительное основание.

— Футуристы — это то же, что коммунисты? Только те — вообще, а эти — в искусстве? — спросила девушка.

— Как вас зовут? — упрямо повторил Удинцев.

— Да Софья! — сказала девушка опять с той же нетерпеливой стремительностью, с какой давеча захлопнула дверь в свою комнату.

Удинцев стал объяснять, что такое футуристы, причем старался приписать им такие качества, какие могли понравиться девушке.

— Футуризм — это рыжая девушка в бесцветной блондинистой толпе. Старых дев она раздражает, а молодежь сводит с ума.

— Ага, — отозвалась Софья, — футуризм рыжий, а коммунизм красный, вот почему я смешала.

— Большинство животных и людей раскрашивают свои шкурки под цвет земли и пыли, в которой живут. А футуристы красятся ярко, — продолжал Удинцев, словно читал доклад.

— Красятся ярко те, у кого хорошие зубы, чтобы кусаться, или хорошие ноги, чтобы убежать, — отозвалась девушка.

— А женщины?

— Что женщины? Те, которые красятся, сродни футуристам: хотят заработать на ярких губах.

— Вот уже вы начали «крыть».

— Ну, разве это начало! Я здорово ругаюсь.

— Давайте лучше перейдем от теории к практике.

— То есть что? Вы меня раскрасить хотите?

— Нет, зачем же? Я прочту вам стихи. Например, «Улица провалилась, как нос сифилитика» или «Дохлую луну».

— Кажется, папа идет.

— Или вот хорошее:

Вам, кретинам, в тинном прахе рыть,
В прахе дряхлом и большом.
Мы, лихие парикмахеры,
Ставим волосы ершом.

— Папа идет, кажется.

— А «Смехачей» вы знаете? А «Утверждение бодрости»?

Каждый молод, молод, молод,
В животе чертовский голод!
Я бросаю этот клич,
Этот гордый слух:
Будем лопать камни, травы,
Сладость, горечь и отравы,
Будем лопать пустоту...

Удинцев прервал свою декламацию:

— Что с вами? Вы плачете?

— Ничего. Уходите. Я расстроилась. Приходите завтра. Да чего вы смотрите на меня? Терпеть не могу.

Удинцев растерянно смотрел на Софью. Она отвернулась к окну и плакала.

— Не могу же я вас бросить так...

— Отстаньте.

— Но объясните хоть — почему?

— Отстаньте! — крикнула Софья, и Удинцев понял, что она не очень хочет, чтобы он ушел.

Сел рядом и стал утешать.

— Видите ли, я не знал, что на вас так действуют стихи.

— При чем тут стихи? Жизнь паршивая, а он — стихи!.. Не хочу я так жить, опротивело.

Удинцев только разинул рот, чтобы утешать, уговаривать, как за дверью раздался капризный, барский голос:

— Софочка! Отопри!

Вошел рассмысленный, увидел постороннего и сразу переменял тон:

— Устал, как лошадь. Вы ко мне?

Удинцев смешался, словно его застигли в чем-то.

А Софья уже перестала плакать и стерла следы слез.

— Я хотел... я думал... — бормотал Удинцев, прячась от жестких глаз старика.

Софья пришла на помощь:

— Это ко мне, мой знакомый по вузу, папа.

— А-а...

— Собственно, я... — хотел Удинцев заговорить о картине «Уходящая Русь»; осекся, побоялся, что старик обидится и прогонит. — Собственно, я... да, я ее знакомый по вузу.

И удивленно подумал:

«Почему она-то за меня врет?»

Когда старик ушел в соседнюю комнату и унес с собой туфли, чтобы переобуться, Удинцев спросил:

— Почему вы думаете, что у меня нет никакого дела к вашему отцу?

— Я не думаю.

— А зачем сочинили, что я ваш знакомый по вузу?

— Чтобы он знал, что вы не коммунист.

— А вы почему знаете?

— Видно.

В туфлях старик стал добрее, гостеприимнее.

Удинцев узнал, что зовут его Василий Викентьевич, что у него ревматизм и что он «скромный служитель Волюкиты».

Пока они разговаривали, Софья надела красноармейскую шапку, перешитый на женскую фигуру яркий рыжий колушок, приняла вид лихой рабфаковки и спросила Удинцева:

— Мы вместе?

Удинцев простился со стариком и вышел.

— Знаете, почему я расплакалась? — спросила Софья, когда они заскрипели по молодому снежку. — Вспомнилось прежнее время — тоже ведь спорили о футуризме. Почему теперь никогда весело не бывает? Вообще же я

не плакса. Вы хотели просить отца позировать? Вы пишете картину «Уходящая Русь»? Я вам скажу, когда можно будет с отцом заговорить, я его подготовлю сначала.

— Откуда вы все знаете?

— А вам не все ли равно?

— Нет, подумать только, какой городишко!

— Сами же виноваты, накрались, вот вас отовсюду и видно, как каланчу.

— Но кто вам про картину сказал?

— Лойковский.

Удинцев почему-то догадался сразу: Лойковский — коротенький заведующий секцией.

— Ах, вон оно что.

— Да, как видите, просто. Вы лучше с меня напишите картину «Неуходящая Русь».

— Почему «неуходящая»?

— Потому что «уходить» меня трудно. Впрочем, тогда вам проще писать автопортрет. Вы из той же породы, и Лойковский из таких. Фу-ты, какая пропасть жуликов! Вы не обижайтесь, я добром. Мы не виноваты, что такие жизнеспособные. Теперь слабые все пропадут, останутся только выносливые.

— Значит, вы думаете, что я делаю все неискренне?

— А вы сами как думаете?

— Кто его знает... Вы меня озадачили. Я полагал, что искренно.

— Лойковский говорит: «Футуристы не сумасшедшие, они — симулянты. Но, говорит, заказ я ему сделаю». Это про вас. А потом подумал-подумал и добавил: «Все мы немножко футуристы». Он страшный циник.

Они приближались к институту. Вдруг Софья остановилась, сунула в рот четыре пальца и свистнула. Кучка рабфаковцев оглянулась и ответила ревом:

— Пойгина! Догоняй!

— Не бегите, братва! — крикнула Софья и, повернувшись к Удинцеву: — Придете как-нибудь на днях?

Удинцев простился и побрел домой под любопытными взглядами рабфаковцев.

Софья догнала приятелей и скоро затерялась в шумливой молодой толпе.

Удинцеву стало одиноко, пусто, а дом с толстомясой хозяйкой и табачным Борисом Яковлевичем показался тусклым, линиялым.

«Тоска!» — вздохнул Удинцев.

Прошел молча квартал и опять:

«Тоска! Тощица!»

Ему казалось, что вот было хорошо, весело, бездумно. Кто-то пришел и ободрал немудрый декоративный куст. Ребятишки перевернут столы и стулья, расстелят одеяла и думают, что это громадный океанский пароход. Вернутся взрослые, отдерут за уши, расставят стулья по местам — и так противно, что мебель снова сделалась мебелью.

Удинцев стал разбирать все по порядку. Вот он голодал и был весел. Вот он покрасил колушок. Что это? Для того чтобы надуть? Просто приятно было плохой колушок сделать предметом общей зависти и внимания. Лойковский, может быть, и жулик. А Удинцев — нет. Удинцев искренне любит своего волка на спине колушка. Разве он подыгрывается? Нет, он не подыгрывается ни к кому. Разве он ненавидит исподтишка современность? Он любит жизнь, любит сегодняшнее и любит раскрашивать. Все это он выскажет при первой же встрече Софье. И скажет: «Живите, Софочка, проще. Почему вы думаете, что вам непременно надо делать пролетарское лицо, свистеть в четыре пальца, говорить всякие некрасивые слова?.. Вот у вас, Софочка, висит на стене «Девятый вал» Айвазовского. Просто и мило. Вот так надо и все. Нехорошо, Софочка, ломаться!»

И вдруг потянуло Удинцева к тому дежурному, что выслал охрану, чтобы не мешали вешать картину. Вспомнился Удинцеву смешок дежурного. Хороший смешок. Простецкий смешок. Удинцеву казалось, что, если пойти и поговорить с этим человеком, сразу станет опять уверенно, прочно на душе.

Поискал в карманах бумажку, где записан был адрес. Бумажки не оказалось. Но теперь уже загорелось пойти к дежурному.

Отыскал то учреждение наискосок от дома, где висела его картина. Как спросить? Вошел и путано объяснил, что ему надо, описав наружность.

— Товарища Клинкаина?

— Д-да...

— Он в уезде.

Удинцев побрел домой, нехотя стянул с себя колушок и принялся за портреты.

С тех пор как получил аванс, он через силу заставлял

себя работать. И с того дня, как стал платить за квартиру, сам покупать табак и даже обедать каждый день в ресторане «Люкс», пропала его легкость, отчаянная веселость человека, который того и гляди умрет с голода, но знает, что не умрет, что какое-то счастье неожиданно свалится ему на голову.

Дома нашел бумажку с адресом дежурного. Иван Григорьевич Клинкин. Плотниковская, 6.

Вечером еще раз сходил поискать Клинкина. Но и на квартире ответили то же: Клинкин в уезде и вернется на той неделе.

— Передайте ему, что спрашивал художник Удинцев и что он мне очень, очень нужен, — попросил зачем-то худощавую женщину.

Женщина окликнула:

— Маша!

— Что, мама? — отозвался низкий, какой-то удивительно спокойный голос.

— Запиши фамилию: Удинцев. А то я забуду.

Удинцев много раз повторил:

— Спасибо, спасибо, большое спасибо...

И пошел спать.

8

Легко сказать — декорации. Конечно, Удинцев согласился. Когда человеку двадцать один год, ему кажется, что нет ничего, что он не смог бы, что он все может сделать, стоит ему только взяться. Удинцева спросили:

— Вы не возьметесь написать декорации к «Пиковой даме»?

— Пожалуйста, хоть к бубновой, — ответил Удинцев.

И тут же заломил такую невероятную цену, что у казачиков волосы дыбом встали. Цена — это не от жадности. Удинцеву двадцать один год, но он уже знает, что от цены и уважение к человеку зависит, и вера в талант.

— Вы нас разорите! — закричал товарищ Кузнецов.

— Ничего не поделаешь, — мрачно сказал заведующий отделом, — надо заказывать.

— Утвердят ли?

— Приложим пояснительную записку...

— Хорошо, приступайте, товарищ Удинцев.

И строгое распоряжение старичку декоратору, чтобы натянул холст и приготовил краски.

Удинцев вошел в нетопленное ателье не без робости. Старичок топил буржуйку. Буржуйка дымила, а на полу раскинулся громадный холст.

Удинцев подумал:

«Посадишь на холсте куст, и окажется, что его в десять раз надо больше. Как тут угадать?»

Эскизы он приготовил, эскизы — дело маленькое, эскизы не без таланта сделаны. Но беда в том, что Удинцев никогда декораций не писал и как приступить — не знает.

Подсел к буржуйке, будто бы руки греет, а сам из старичка слово за словом вытягивает.

— М-да. Вы давно тут работаете?

— Тридцать годков без малого.

— Интересно... у каждого художника своя система. Ну, вот как работали мои предшественники?

— Всяко работали... У нас хорошие художники бывали. Тирготина слыхали?

— Ну, как же!

— Этот всегда с водки начинал. А Елизаров — тот больше за мой счет проезжался. Я сделаю, а он после меня тут потрогает, там потрогает — и идет счета подавать.

— А как они обычно размечали?

— Известно как: по клеткам разобьют — и пиши каждый квадрат.

— Ну, это само собой разумеется (ага, по клеткам!). А вы, должно быть, очень опытный человек?

Буржуйка дымком попахивает, обломки старых декораций горят ярко, весело. Старик декоратор рассказал всю историю театра: и какие режиссеры были, и как актрисы друг друга «по мордасам били», и сколько водки может вылакать хороший суфлер.

Теперь Удинцев не с таким страхом на холст поглядывает. Глянет и усмехнется:

«По клеткам! Знаю, брат!»

Сцапал ведро — и давай разводить небесный цвет. А старик прищурился и спорит:

— Мало сините. Высохнет — не небо получится, а сугроб из «Жизни за царя».

— Ничего, сойдет.

— Я вам говорю, мало.

Удинцев не уступил. Пожалуй, уступить, так презирать начнет. Однако на другой день небо действительно оказалось никуда не годным. Пришлось перекрашивать.

Удинцеву вот как весело. Удинцев дома пишет портреты и поет «Яблочко». Он уже начинает привыкать к постоянному присутствию денег в боковом кармане. В ресторане «Люкс» знают его в лицо. Он два раза давал займы Борису Яковлевичу. Мешают его спокойствию только Софьины глаза.

«Неужели же я просто жулик?» — огорченно спрашивает себя Удинцев.

Он обедает, гуляет, рисует, а мысль все одна:

«Неужели я жулик?»

Он ненавидит Лойковского за то, что Лойковский такой довольный, такой спокойный, за то, что Лойковский научил Софью холодным, расчетливым словам.

— Почему же, — выспрашивает недоверчиво Борис Яковлевич, — в городе много художников, а стали заказывать больше всего вам?

— Почему! — сердится Удинцев. — Ну, хотя бы потому, что я не здешний, я уеду, а они останутся, им еще успеют сделать заказы.

— Не так, — крутит головой Борис Яковлевич, — все не так вы объясняете. Вы саморекламой взяли, вы ошеломили красками...

— Да, и это. Сейчас такие дни, что краски должны орать, а ваши здешние все еще выкозюливают чахлые пейзажики.

С Борисом Яковлевичем Удинцеву спорить легко. Борис Яковлевич робкий, он боится договаривать, и Удинцеву не пужно много усилий, чтобы его переспорить.

Но Софья Пойгина! Почему до сих пор не решается Удинцев к ней пойти? Почему бесконечно готовится к спору с ней и придумывает что-то уж слишком много доводов и возражений?

Почему ждет нетерпеливо, когда вернется из уезда Клинкин?

Какое наконец ему дело до рыжей Пойгиной? И что может сказать особенного этот Клинкин?

«Пиши портреты, дурак, — уговаривает себя Удинцев, — живи прежней бездумной жизнью. Твоя сила в том, что ты молод, самоуверен, требователен, жаден. Право же, это не плохо: сначала поступать, а потом придумывать, почему ты так поступил. Ты живешь в те дни, когда обнажился скелет жизни и стало видно все ребра: смерть, еда, выносливость. Нет, ты не жулик, ты просто износил в теплушках

все тонкие одежды, сшитые из деликатности, робости и еще каких-то тонких, непрактичных тканей.носи, брат, вонючий колушок, а чтобы не боялись люди, что потрясешь насекомых, разрисовывай колушок жизнерадостными драконами. И если тебе надо с кем поговорить, так не с Клинкиным и не с Софьей. С Лойковским у тебя будет спор из-за рыжей девушки, у которой, должно быть, такая цветистая кожа».

9

Никакого спора не произошло. Они не спорили, они говорили о живописи, о том, нужно или не нужно сходство портрета с оригиналом. Но за умными их разговорами сквозила тяжесть: чья будет рыжая Софья Пойгина.

— Вы, друг мой, были у белых, — начал задушевный разговор Лойковский. — Я это узнал по валенкам, валенки у вас колчаковские.

Лойковский остановился и хохотнул торжествующим хохотком, как изобретатель, удачно продемонстрировавший новый опыт.

Удинцев услышал его слова так:

«Если ты потребуешь себе Софью, я могу на тебя донести».

— Вы хорошо изучили колчаковский фасон, — ответил Удинцев.

Это означало:

«Я тебя не боюсь, ты у меня только пикни».

Лойковскому первому надоело разговаривать шифром. И вот тогда он заговорил о роли «бывших» в божкомедии, стараясь придать разговору секретность и лирический тон:

— Божкомедия, вернее — совбожкомедия, советская божественная комедия, есть победа варваров над культурой. Но вы знаете, что бывает, когда варвары побеждают культурную нацию? Победенный побеждает победителя. Я сказал все.

Удинцев молчал.

Молчание сбивало с толку Лойковского. Ему было бы удобнее, если бы с ним спорили или соглашались, ругались наконец, но как-то отзывались на его слова.

Удинцев начинал злиться, но понимал, что и Лойковский взбесится, если помолчать еще минут пять. Но Лойковский вдруг понял, что его нарочно злят; еще понял,

что на задумчиво-коптрреволюционные разговоры не клюнуло и что с колчаковскими валенками он наглушил: не надо было корчить из себя Шерлока Холмса.

Был вечер, когда сугробы бродили по улицам синими медведями, а потом спали, свалившись на дороге, по которой изредка проползут розвальни, и лошадь кажется тоже синей, и возница прирастает к розвальням темным бесформенным пятном. А в небе, еще пустом, начинают пробиваться редкие звезды, и чем больше их высыпает на небесное полотнище, тем непонятнее и громадней кажутся дома и сугробы на земле.

Вот и Лойковский был непонятный, распухший ком. Евгений Удинцев поглядывал на него искоса и думал о том, что есть в Лойковском что-то такое, чего никак не понять. Все люди в городе более или менее понятны Удинцеву. Одни ему нравятся, другие безразличны, есть и такие, которые вызывают неприязнь. Ведь времена-то неотстоявшиеся, все взбудоражено, и хотя никто сейчас уже не сидит в окопах, но война продолжается — война старого и нового, война бывших и будущих, пришедших по-своему устраивать жизнь. Какое место занимает Лойковский в этой схватке? Удинцев угадывает, что Лойковский не тот, кем себя изображает. Удинцев даже не верит, что Лойковскому нужна Софья. Есть тут какая-то неясность, и ужасно хочется в ней разобраться.

Евгений Удинцев слушал Лойковского и думал, что такие непременно берут взятки. Ему хотелось придержать заведующего за локоть и спросить, глядя ему в глаза, чтобы он побоялся запросить много:

— Сколько? Сколько за Софью?

Лойковский шел рядом и спросил, даже не спросил, а отметил известное обоим:

— Вы хотите писать портрет старика Пойгина.

Удинцев промолчал.

— Пойгина я устроил рассыльным, но если узнают, кто был Пойгин прежде, ему несдобровать.

Лойковский подождал и, так как Удинцев никак не отозвался на это известие, продолжал:

— Советую вам держаться от всей этой истории в стороне и подальше. Вы начали прекрасно, с футуризмом сделано отлично, артистически. Вы в самом деле видели когда-нибудь Бурлюка? Скажите на милость! Как кстати! Не надо портить такого хорошего начала.

Удинцев все больше злился. Советы дают, когда об этом попросят. В данном же случае он в советах не нуждается. К чему этот назидательный тон?

— Напрасно вы думаете, что футуризм — это мой трюк. Нет, дорогой Лойковский, это не мой трюк, это мой стиль.

— А вы, оказывается, умнее, чем я думал, — проворчал Лойковский.

— Не могу вам ответить тем же, — отозвался Удинцев.

— От футуристов грубости принимаю.

И Лойковский заговорил о Софье, о том, что девушка неповинна в грехах отца, что ее он, Лойковский, должен спасти.

— Я материалист, — восклицал он, — но есть материалисты-материалисты и материалисты-идеалисты. Вот этот второй сорт я не выношу.

Лойковский снупо размахивал руками, как бы избегая отдалять руки от карманов, и говорил, говорил...

— Сейчас цветет махровым цветом дилетантизм, всезнайство и идет наглейшая спекуляция на Марксе, на «Вы жертвою пали» и на пролетпроисхождении...

— Вы говорили что-то о Софье, — перебил Удинцев.

— Да, да, я говорю, что она славная девушка. Не трогайте ее, и пускай себе она учится на рабфаке.

У Удинцева опять чесался язык склониться к самому уху и спросить: «Сколько?»

Но вдруг он почувствовал, что начинает подпадать под влияние Лойковского. Это было страшное ощущение, как будто какой-то пылесос медленно, размеренно всасывает, и нельзя выбраться из всасываемого потока воздуха.

Удинцев не умел спорить. Удинцев привык обращаться с красками, в красках был прост, прямолинеен и, прежде всего, добивался, чтобы был чистый тон.

Лойковский запутывал, сбивал с толку, делал каким-то заговорщиком и единомышленником собеседника помимо его воли.

Удинцев испытывал острую потребность возразить, разбить все его доводы, но чувствовал себя слабым, неподготовленным.

Тогда Удинцев с той же прямолинейностью и стремительностью, с какой превратил свой козюлок из отталкивающего в привлекательный, повернул разговор простым, поверхностным, как слой краски, ходом.

— Мне нравится, — сказал он, — что сейчас пришли

простые, трудолюбивые люди, которые любят здоровые, цельные краски. Я думаю, что из этого что-нибудь выйдет.

— Разумеется, — вяло отозвался Лойковский.

— Что же касается портрета, — продолжал Удинцев, — что же касается портрета, то у вас неточные сведения: я не собирался писать портрет старика, я думаю писать портрет его дочери.

Бесформенный ком заворочался, тыкнулся мохнатой ва-режкой в ладонь Удинцева и покатился прочь по снежно-му тротуару.

Удинцев почти убежал от Лойковского, а цепкие ядови-тые слова его сидели в мозгу, как ласка в гриве лошади. Удинцев встряхивал головой, бился, но чувствовал, как без-верие спутывает гриву его мыслей. Он хотел уже вернуть-ся, когда Лойковский тронул его за плечо.

Удинцев обрадовался, что Лойковский вернулся, и заго-ворил первый, так, словно они и не прощались, а шли ря-дом и продолжали свой спор:

— Значит, вы ни во что не верите?

— Например?

— В новый класс, в революцию?

— Видите ли, дорогой мой, — Лойковский, кажется, смеялся, — видите ли, милый футурист, я вроде аптекаря. Знаю, что пили касторку, пьют касторку, — и человечество не стало здоровее.

Но тут хирургия.

Что может сделать хирург? Откромсать руку? Нет, я не умею верить. Не верю ни в бога ни в социальное блажен-ство и меньше всего верю в интеллигентскую затею элек-трифицировать тайгу.

— Вот где бессилие кисти! — воскликнул Удинцев. — Будь я писатель, я записал бы вас; будь я композитор, я сделал бы из вас симфонию безверия — так можно выра-зиться? Но кистью вас не возьмешь. Вы ходите в маске совслужащего, — как же вас взять на кисть?

— А вы не берите! — посоветовал Лойковский. — Чего вы со своей кистью всюду лезете? Пишите портреты вожд-дей и молчите. Удивительно, сколько фотографов разве-лось — тоже черта времени. Кстати, я знаете что придум-ал? Затем и вернулся, чтобы сказать. Я объявлю Софье, что вы чекист. Вы будете отрицать, расскажите о нашем разговоре, но это такой репей, что не отцепить.

— Да выбросьте вы из головы, что я отнимаю у вас

Софью, — рассердился Удинцев. — Меня она интересуе-ет, как художника — и только.

— Правда? Но я вижу, что вы в нее влюблены. Не на-до, товарищ Удинцев! Как бы вам это объяснить... вы пута-ете мне карты.

— Да с чего вы взяли, что я влюблен, сумасшедший вы человек?

— Нет, нет, не обманывайте. Она восхищается вашим ко-жушком, вашей эксцентричностью. Я ей сказал, что фу-туристы — симулянты, она рассмеялась. Если вы не влюб-лены, то и слава богу. И я вас очень прошу: не рисуйте ее.

Лойковский высказал все это и, словно боясь, что Удин-цев что-нибудь возразит, убежал, не прощаясь. Он напо-мнил Удинцеву крокетный шар, который стукнется, отка-тится («проходя, крокирую») и все будет такой же круг-лый, и такие же черные полосы будут опоясывать его по-средине.

«Не укусишь», — подумал о нем Удинцев не то с доса-дой, не то с удивлением.

Потом стал разбираться: все-таки как он относится к Софье?

«С чего Лойковский взял, что я влюблен в нее? Ну да, ну рыжая, красивая, но выдуманная вся и притом исте-ричка. Я просто напишу маслом ее рыжие волосы — и все. Могу даже шафером быть на их свадьбе. Только куда ей такого коротенького и круглого?»

И через два дня, встретив Софью, думал:

«Куда мне она? Не нравится мне она. И говорит-то не свое, а напетое Лойковским».

Сам не понимал, зачем это было нужно рассказывать ей, что Лойковский походит на крокетный шар, и говорить, что сам сатана не выдумал бы лучшего способа наказать мужчину, как сделав его коротеньким и толстым.

Понимал, что это низкопробное средство — стараться сделать соперника смешным. Но остановиться не мог. Вы-думывал про Лойковского смешные и глупые истории. Со-фья хохотала. Удинцев не остановился на этом, он расска-зал, что Лойковский запрещает ему писать ее портрет.

Софья возмутилась и назначила первый сеанс на другой же день.

— Я понимаю, — говорил Удинцев с напускной скром-ностью, — если бы он запретил мне целовать вас. Но портрет...

— Если бы он был даже моим мужем, он ничего бы не мог мне запретить!

Удинцев разыгрывал разговор, как по нотам. Сначала Лойковский изображен в смешном виде. Затем игра на самолюбии Софьи, взывание к ее гордости. И наконец переход в атаку, неожиданные взрывы веселости, вольности, поданные под видом мальчишеской шалости.

— Ну нет, Софья Васильевна, если бы он запретил целоваться, вам бы ничего не оставалось, как подчиниться.

— А если вот возьму да поцелую вас? Ага, а вы уж обрадовались!

— Напротив, испугался: ведь Лойковский меня крокирует!

— А вот!

Как несложны хитрости, при помощи которых рушат между собой преграды мужчина и женщина, в особенности если ему двадцать один, а ей девятнадцать лет! Кончилась эта прогулка тем, что Удинцев пообещал завтра же начать портрет, а также подговорил Софочку, и она согласилась разрисовать свой кожанок веселыми узорами.

— Интересно, интересно! — оживилась Софья.

Был мягкий снежный день. Небо не ведало пайковой системы: снег шел щедро, густо. Город помолодел и походил на играющего в снежки мальчишку.

— До завтра! — крикнул Удинцев, утоная в пляшущей пурге.

— До завтра! — ответила Софочка и запустила вслед снежным комом.

«Нет, нет, — твердил себе Удинцев, загребая валенками рыхлые наносы, — я не влюблен в нее, я просто хочу написать ее рыжие волосы».

10

Наконец-то Клинкин приехал. Пропитался запахом сена, степного ветра, избяного дыма. Стал еще более серым, а глаза на бритом большом лице светлые, уверенные, словенные через головы голодных, ободренных видят что-то лучшее и спокойные за завтрашний день.

Удинцев пришел, его усадили к столу, заставили есть сметану, которую Клинкин привез из уезда.

— Маша, Дочь, — показал Клинкин куском хлеба в руке, предлагая знакомиться.

Удинцев поздоровался и удивился, какая сильная рука у девушки. Исподтишка рассмотрел: вся в отца, и глаза

такие же светлые, серые, радостные, и рот такой же, упрямо сжатый.

— Хорошо, что пришли, попали на сметану. Рисуете? — говорил Клинкин, усаживая гостя за стол.

— Рисую, — ответил сдержанно Удинцев.

— Ничего в картинках не понимаю, а все-таки люблю. Вы и стихи пишете?

— Нет.

— Ну, все-таки, наверное, кое-что да смыслите. Я вам хочу прочесть одну штуку. Свежее. Пока лошадей в Максимовке перепрягали, написал.

— Дай хоть поесть человеку!

— Он пусть ест, а я прочитаю. Разве одно одному мешает? Ведь верно?

Порылся в портфеле, наткнулся на какую-то бумажку, сердито сунул ее обратно. Вытащил листок, исписанный карандашом.

— Вот. Называется «К солнцу». Только не очень критикуйте, а то дочь страсть как бранит, а я же не виноват, что меня не учили. Это буржуазы писали по-учебному, а мы по-простецки.

— Не учили, так и не лезь, — сказала Маша, и Удинцев опять удивился, какой у нее низкий, волнующий голос. — Не так-то просто стать Пушкиным.

— Так вот, «К солнцу». Лошадей перепрягают, я вышел на крыльцо: солнце, сугробы, навоз — этакое раздолье! Пошел в избу, притулился на краешке стола и написал.

Клинкин держал на большой ладони листок и удивленно смотрел на него: дескать, как это я написал такое! Он, видимо, волновался и робел. Он поглядывал то на Машу, то на Удинцева и улыбался, как бы заранее извиняясь, если не понравится.

Наконец решился и прочел один духом:

Солнце, солнце, мать природы,
Мать вселенной всех миров!
Почему же нет свободы
Всех народов от оков?
Ты, вселенский шар светящий,
В мире все тебе равны,
От тебя мир исходящий,
Горем люди в нем полны.
Освети лучами правды
Злой и старый земной мир!
Пусть владеет им бесправный,
Пусть погибнет их вампир!

Прочел и развел руками: что хотите, мол, то и делайте со мной, а вот написал — и баста!

Удинцев обмакнул кусок хлеба в сметану и сказал:

— Что ж, ничего.

— Плохо,— сказала решительно Маша.

— Сам знаю, что плоховато,— согласился автор,— но мне на форму плевать. Главное — мысль-то можно понять?

— Можно,— подумав, объявил Удинцев.

Ему не хотелось огорчать автора, хотя невольно вспоминались злые слова Лойковского о дилетантизме и было немало досадно, зачем хороший, дельный человек выставляет себя смешным перед дочерью, да еще при чужом человеке?

— Мысль та,— торопился объяснить Клинкин,— что на постройку вселенной затрачено столько материала, а не догадались в таком зданьице сырость капитализма предотвратить. Выходит, и у вселенной техника хромает. Понятно?

— Чего ж тебе, солнце капитализм будет уничтожать? — рассердилась и Маша, что отец показывает свою необразованность при постороннем.— Капитализм ты уничтожай, а у солнца своего дела хватит.

— Не понимаешь ты мою мысль,— замахал коркой хлеба Клинкин.— Ведь если бы не солнце, так на земле не было бы ничего?

— Не было бы.

— Оно стало светить, ну и начали расти и травы, и пшеница, и топливо. А зачем же было выращивать буржуазию? Тут какая-то путаница.

— Я понимаю, что вы хотите сказать,— вмешался в их спор Удинцев.— Вам непонятно, как это в таком точном механизме, как вселенная, могли оказаться такие дрянные винтики, что человеку теперь исправлять приходится?

— Вот! Вот! — ликовал Клинкин.— Слышишь, как тебе объясняют? А ты учишься на рабфаке, а ничего не можешь понять.

Маша внимательно посмотрела на Удинцева, словно стараясь угадать, серьезно он одобряет стихи или втайне глумится над ними.

— Мысль вы сейчас сами придумали, а стихи плохие,— упрямо повторила она.

Удинцев вдруг вспомнил, что он даже не поздоровался

с женой Клинкина. Она все время была тут, молча подавала еду, резала хлеб, молча сидела за самоваром и ела.

«Фу, какая чепуха! — расстроился Удинцев.— Чего же он меня не познакомил?»

Чтобы загладить неловкость, повернулся к художавой женщине и спросил:

— А вам нравится?

Женщина переполошилась, от неожиданности чуть не опрокинула чашку и ответила, застыдившись:

— Я чего! Я непонятливая!

Клинкин принял поступок гостя за веселую шутку.

— А ну-ка, Анюта, раскритикуй! — закричал он. И потом тихо, словно она глухая и не услышит, если сказать тихо, сообщил: — Печку стихами моими растопляет.

— А ты не разбрасывай,— отозвалась женщина.

«Пойгины,— подумал Удинцев,— прикидываются рассылными, а тут простым людям охота хоть капельку учеными быть».

И мысленно сказал Лойковскому, словно еще продолжался их разговор:

«Если революция сумеет дать образование всем Клинкиным — Россию не узнать».

Со сметаной управились. Молчаливая женщина налила чай. Клинкин вздохнул, свернул вчетверо листок со стихами и, пряча его в портфель, опять наткнулся на ту же неприятную ему бумажку.

— Вот,— пожаловался он, ни к кому особо не обращаясь,— не успел приехать — посылают стрикулиста одного забирать! Понимаете, какая птица: бывший председатель окружного суда, сколько хороших людей угробил, а теперь простачком прикинулся и на службу к революции рассылным поступил!

Удинцев вздрогнул, глотнул чаю, чтобы скрыть свое волнение от внимательных глаз Маши, и обжег рот. Его ошеломила мысль, что вот пришел он к этому Клинкину, Клинкин к нему с открытой душой, а он? Как должен поступить он, Удинцев? Например, о Лойковском. Обязан ли он рассказать о Лойковском, о своих сомнениях, о странных отношениях Лойковского с семьей Пойгиных? Но что, собственно, может сказать Удинцев? Ничего определенного! Да просто ничего.

Он допил чай, не сознавая вкуса деревенских постряпенок, поданных на закуску. Глянул на часы — половина

десятого. Простился торопливо и выбежал из нагретейшей от самовара комнаты в морозную, строгую ночь.

Именно строгость поразила его на улице. В замороженном небе созвездия строго заостряли углы. Внимательно строго смотрела круглая, как в учебнике космографии, луна. И пустынные улицы города сосредоточенно о чем-то думали, о чем-то большом, важном, небудничном, и от этого у них был даже торжественный вид.

Собаки, очевидно поняв, что решается что-то важное, перестали тявкать. И одноглазое небо склонило свое лицо над землей, задумавшись над ее судьбою.

Удинцев робко подумал:

«Но ведь не исправит же устройство вселенной Кликин, если даже и арестует старика Пойгина».

Дальше стал думать о том, что, конечно, необходимо вылавливать городских, провокаторов, шпионов; но те — незнакомые, а Пойгина Удинцев видел, и кажется ему, что по причине дряхлости Пойгин не сможет принести вред. Какой он там враг? Просто — бывший.

«Предупредить? Не предупреждать? Не вмешиваться во всю эту историю, такую мелкую, незначительную по сравнению с грандиозностью неба и сугробов?»

Удинцев заметил, что ноги его решали что-то свое; как и во всех поступках, действие обгоняло в нем мотивировку действия. Ноги тащили его к улице, где жил раскатыльный Пойгин.

11

Вот тут нужно свернуть в проулок. Вот пустырь, около которого Софья поцеловала его. Как ярко освещен пустырь! А вон там, за двухэтажным домом, будут окна, в которые Софья разглядывала его, прежде чем впустить.

Из какой-то странной предосторожности перешел на теневую сторону улицы. Как резко расколота улица на две части! Одна блистает желтизной полнолуния. Другая — синяя до черноты. Даже страшно входить в эти провалы.

Но предосторожность была не напрасна. Скоро Удинцев услышал голоса, а потом увидел две закутанные фигуры, которые сидели на лунной полянке, у ворот, на скамейке, и сугроб перед ними походил на полыхающий лунный костер.

«Я знал, что они тут», — подумал Удинцев и стал ставить ноги боком, чтобы не скрипел снег.

Как будто тишина в городе для того и была устроена, чтобы Удинцеву было слышно каждое слово тихо говоривших тех двух.

«А все-таки нехорошо подслушивать», — подумал, загораясь любопытством, Удинцев и услышал, как бьется сердце.

«Если пойти дальше, заметят», — подумал, пройдя несколько шагов.

Остановился. Замер. Вместе с небом, насторожившимися домами и неуклюжими сугробами стал слушать. Слышно было все, что говорил мужской голос. Женский был слабее, долетали только отдельные слова.

— Осторожнее. — говорил густо мужчина.

«Нужно быть осторожнее», — отгадал всю фазу Удинцев.

Женщина ответила только смехом. Но мужской голос настаивал, поучал:

— Вы часто держитесь вызывающе. А разве у вас есть убеждения? Вы — *tabula rasa* — чистая тетрадь, и неизвестно еще, какие слова будут в тетради написаны.

«Как он тяжеловесно рассуждает, — подумал Удинцев, поморщившись, — даже латинский язык приплет!»

— Я и не говорю, что у меня есть убеждения, — уже громче и задорнее выкрикнула женщина, — но у меня есть вкус! Что же касается всех рецептов спасения человечества... я в этом мало разбираюсь...

— Я намекнул ему, что у него-де колчаковские валенки. Он засмеялся. Ну, тут я понял, что он за птица, и стал говорить ему на всякий случай, что, мол, дети не отвечают за грехи отцов, а он понял сразу и перебил меня: вы это о Софье? Так что вы понимаете, какой он футурист? Такие футуристы по приходе-расходной работают.

Женский голос что-то спросил.

— Очень просто, — ответил мужчина, — пристреливают.

— Мерзавец! — прошептал Удинцев, но не сдвинулся с места и только почувствовал, что начинает дрожать — не то от холода, не то от возбуждения.

Мужчина густо и тихо смеялся.

Тогда начала говорить что-то женщина. Кажется, она заступалась. По крайней мере, до Удинцева долетели слова: «надо проверить» и «хорошие глаза».

Удинцев нахмурился:

«Все-таки чего этот человек хочет? Этот Лойковский?»

Предупреждает? Но почему? И знает ли он, Лойковский, что старик Пойгин будет арестован? Конечно, нет. Опять что-то непонятное и запутанное...»

И вдруг вспомнил:

«Там, у Клипкина, вероятно, одеваются, шупают револьверы, выходят... И, глядя на луну, Клипкин опять придумает стихотворение».

Забыв прислушиваться, с досадой подумал:

«Не пойму, никак не пойму этого Лойковского!»

И, проникаясь холодной рассудительностью, остро очерченной в теньях и свете ночи, не удержал мысль:

«Пойгина можно расстрелять, можно не расстрелять. Для самого Пойгина выгоднее, пожалуй, поставить точку».

Безжалостно, будто подписывал смертный приговор, смотрел поверх двух разговаривавших на той стороне улицы, смотрел мимо города, мимо созвездий, куда-то в пустоту, и мысли были острые, как тень от крыши на сугробе.

Улица походила на двухцветный флаг: бело-желтое и черно-синее. Удинцев щурился, чтобы получилось полное впечатление флага.

Мысли были разорванные:

«Софья — рыжая, как та сторона улицы, Лойковский — черный, как теневой провал».

Прохожий спугнул беседующих. Оба встали, и теперь Удинцев легко угадал в женщине Софью. Он посмотрел без любопытства, как они прощались. Лойковский, видимо, пытался поцеловать Софью, но она его оттолкнула, а он не очень настаивал и быстро пошагал прочь.

Вот Софья побежала по полисаднику мимо торчащих из сугроба кустов сирени и постучала в стекло.

Лойковский побежал вместе со своей тенью вдоль улицы и скрылся в переулке.

Удинцев подумал, ощущая себя вмерзшим в льдинообразную ночь:

«Через два часа арестуют...»

Оторвался от места, стяхнул морозную одурь и медленно побрел желтыми улицами домой.

12

Утром, как ни в чем не бывало, забрал ящик с красками и пошел к Пойгиным заканчивать Софочкин портрет. Долго стучался, наконец кто-то зашледал к двери, и

148

Софья отперла засов, против обыкновения не спросив, кто стучит.

Удинцев глянул на нее. Она была одутловатая, растрепанная, глаза большие, как после болезни, лицо припухшее. Видимо, плакала и не спала ночь.

Удинцев, словно проверяя то, что было ему известно, осмотрел комнату. Вещи перевернуты, один бок дивана вспорот, и из вспоротого места отвратительно вывалилось нуто.

Увидев Удинцева, Софья стала пятиться и бормотать:

— Уйдите, уйдите, уйдите... Никого! Никого не хочу видеть!

Удинцев попытался заговорить, она стала кричать и биться в истерике. Удинцев крикнул:

— После узнаете, что я ни в чем не виноват!

Софья замотала головой, словно у нее ныл зуб.

Удинцев понял, что ничего не добьется, повернулся и вышел.

— Твоя взяла! — прошептал, взглянув на скамейку у ворот, как будто там все еще сидел Лойковский.

Пришел домой и долго строчил Софье письмо, в котором рассказывал подробно про встречу с Лойковским, его угрозу, которую Лойковский выполнил так блестяще.

Писать был не мастер, письмо вышло путаное, нескладное, а буквы были неубедительные, нетвердые.

Перечитал и сжег.

Занялся писанием портретов, водил кистью, напевал частушки, и, как всегда с ним бывало, с досады работалось хорошо.

Опять стал часто беседовать с Борисом Яковлевичем, который теперь так же мучительно, как месяц назад футуризм, переваривал марксистскую теорию.

— Все это, — терзался он, — все это я отлично знаю, но вот собственность... разве можно, чтобы не было собственной трубки и своего кисета? Если социализм с собственной трубкой, тогда приемлю.

Удинцеву чувствовалось с Борисом Яковлевичем так, словно он после долгих блужданий вернулся домой, и снова брюзжащий, охающий дядя и знакомая с детства деревянная коробочка с табаком.

В отделе народного образования узнал, что Лойковский получил новое назначение.

— Об аресте Пойгина слышали?

149

Удинцев усмехнулся и ничего не ответил. Мало ли историй в городе — он человек приезжий, какое ему дело?

Задумался.

В конце концов все это очень скучно, надо ехать в Москву. Кожушок принес деньги, но отнял прозрачную радость, и душу наполнил шум.

Вспомнил о Клинке, захотелось зайти к нему, как хочется зайти в лес и посидеть на пенке, когда утомит житейская путаница.

Клинка опередил. Однажды в дверь постучали, и вошла Маша. Протянула большую сильную руку и сказала своим низким голосом:

— Отец просил передать, что один арестованный хочет, чтобы вы сделали его портрет и через это принесли пользу революции. Он говорит про какую-то картину «Уходящая Русь», что ли, вы, верно, знаете.

— Что? Что? — переспросил Удинцев, пока еще не понимая. И вдруг рассердился. — Не хочу. Я и картину давно раздумал писать. Что я вам, Верещагин?

А сам уже завинтил тюбики, вымыл в керосине кисти и стал укладываться.

Маша спокойно наблюдала за его сборами, подняла цинковые белила.

— А это забыли?

Пока Удинцев одевался, осмотрела комнату.

— Словно вы тут и не живете. Вида жилого нет.

— Не умею делать жилой вид... Бродяга.

— Художник, а не умеете! Сколько картин нарисовали — хоть одну бы себе повесили.

«Вот в кого бы влюбиться», — подумал Удинцев, оглядывая сильную девушку, задерживаясь на ее серых, излучающих уверенность и радость глазах.

Девушка смутно угадала смысл его взгляда. Чуть-чуть торопливее, чем все делала, вышла из комнаты, рассказывая по дороге, что нужно зайти к отцу на службу, узнать все точнее и получить пропуск.

Клинка встретил радушно.

— Хорошее дело задумали! Картину-то, говорю, очень хорошую задумали, только вы уж так рисуйте, чтобы все понятно было, попросту. Старик-то вправду музейная редкость. Откуда вас он знает?

Удинцев рассказал, как они встретились.

— Вот черти! — удивился Клинка. — Значит, вы ходите по улицам, а глазами, как фотографы, — щелк, щелк! С вами надо осторожнее, мимо идешь — так отворачивайся, а то как раз на карточку попадешь.

Старик в тюрьме встретил Удинцева важно, как священника умирающий.

— Скажите, как сесть, — заговорил по-деловому.

Удинцев усадил старика, заработал кистью. Старик сидел неподвижно и казался временами мертвым. Красноармейцы заглядывали через плечо Удинцева и шептались:

— Борода.

— Где борода?

— Верно! Скажи пожалуйста, даже бороду может!

— А вон это, с зеленым, ухо.

— Ух ты, леший, и ухо зарисовал!

Начальник тюрьмы прогнал всех и сам вышел на цыпочках.

Воцарилась мертвая тишина, каменная, тюремная, пропитанная плесенью и тоской.

Вдруг неподвижный старик шевельнулся и страстно зашептал:

— Последнюю просьбу смертника выполнить можете?

— Смотря какую, — насторожился Удинцев.

— Когда арестовывали, при мне был портсигар... И я упросил не отбирать его, оставить... Золотой, с монограммой, фамильное... И что же? Солдатам достанется? Отдайте его дочери, я знаю, вы человек честный, не позаритесь на чужое... Для этого и портрет придумал... Вспомнил... Софья говорила... Вот. Ради всего святого!

Острые глаза старика так и сверлили. Он просил, умолял, а глаза приказывали: привык приказывать и не умел просить.

Удинцев увидел портсигар. Подумал, что не будет с его стороны преступлением передать эту вещь Софье. И согласился. Золотой портсигар очутился у него в кармане и казался очень тяжелым. Удинцеву с этой минуты все представлялось, что заметят, обнаружат... что он, Удинцев, невольно оказался в заговоре с этим стариком.

— Теперь рисуйте, — шептал старик. — Рисуйте же, чтобы никаких подозрений не было!

От мрачных стен, от тяжелого затхлого воздуха, от просвистевшего шепота старика и от ощущения в кармане этого предмета у Удинцева взбудоражилась вся душа. Пи-

сать портрет было страшно. И страшно было, что кругом такая тишина.

Когда через час заглянули в камеру, с полотна Удинцева глядело окаменелое лицо, похожее на древнюю вазу, найденную при раскопках. Никогда он еще не работал так напряженно.

— Кончили, — сказал Удинцев. — Разумеется, это эскиз, но дальше я могу без натуры закончить.

— Можно шевелиться? — спросил Пойгин, но не пошевелился.

Начальник тюрьмы проводил Удинцева до выхода, пожал ему руку и сказал:

— Если понадобится, приходите, все заключенные будут вам предоставлены. Мы ведь понимаем, что художнику нужны типы.

Дома Удинцев открыл этюдник, глянул на портрет, испугался и захлопнул крышку. Потом, не вынимая из кармана, пощупал портсигар. Холодный. Тяжелый.

«А чего я боюсь? — успокаивал сам себя. — Портсигар как портсигар... Может быть, я купил его в комиссионном?»

И с напускным равнодушием вынул из кармана портсигар и стал его вертеть и разглядывать. Да, по-видимому, золотой. Такие в юбилей дарят. Дорогая вещь! Монограмма с причудливыми завитушками. Открыл портсигар и увидел, что он набит папиросами.

«Нет, курить не буду, так все в целости и сохранности отдам дочери».

Захлопнул золотую крышку и бросил портсигар на стол.

«Завтра же надо отнести. Неприятно все это».

Вошел Борис Яковлевич, он всегда заглядывал на полчасика по вечерам. Сразу же увидел портсигар.

— Вот это приобретение! Молодец! Хвалю! Разрешите посмотреть, я в этом товаре кое-что понимаю... М-да... золото... И работа какова! Камни вделаны, вы обратили внимание? Нет, нет, не поддельные, рубин, уверю вас, — рубин! И уже папиросами запаса! Шикарно! Не могу отказать себе в удовольствии...

Удинцев не успел слова сказать, как Борис Яковлевич вытащил папиросу из портсигара, стал поправлять оставшиеся папиросы — и вдруг оттуда вывалился свернутый клочок бумаги.

— Вероятно, цена? — спросил Борис Яковлевич.

— Нет, нет! — схватил бумажку Удинцев. — Это просто... просто один адрес...

— Пожалуйста, пожалуйста, я не любопытен. Но судя по тому, как вы покраснели... гм... да-а! Cherchez la femme — ищите женщину, как говорят французы!

Борис Яковлевич звал выпить чаю. Удинцев вспомнил, что проголодался, но сначала пошел и вымыл руки: было ощущение, словно весь день перетаскивал мертвецов.

Потом заперся в комнате, развернул листочек, выпавший из портсигара.

«Немедленно по получении записки отдай картину Айвазовского вместе с рамкой Лойковскому. Скажи — от папы на память. Именно так и скажи. Имей в виду — это очень важно, очень. Вот и все. Прощай».

И все. Ни подписи, ни обращения, ни ласкового слова. Душа — как истлевший пергамент. Записка еле нацарапана, видно сломавшимся карандашом.

Удинцеву показалось, что от клочка бумажки пахнет тлением.

Однако странное предсмертное распоряжение — дарить дешевую картину вместе с рамкой... Удинцев отлично помнит эту репродукцию, она висит около буфета. Айвазовский, «Девятый вал». Самая распространенная вещь, ничем не привлекающая внимания... И если ее так важно вручить Лойковскому... значит, тут что-то есть? Значит, старик решил использовать Удинцева для какого-то своего и, очевидно, темного дела! Не выйдет! Расчет был на то, что Удинцев из щепетильности даже не прикоснется к портсигару... Да ведь и выбора у старика не было... И что же теперь делать?

Легкомысленный, беспечный, не привыкший о чем-нибудь задумываться, Удинцев неожиданно попал в какую-то запутанную историю. Это вам не козушок раскрашивать, не декорации писать!

Всю ночь Удинцев ворочался, вздыхал, курил.

И когда пришел к решению, что завтра же отнесет все Клинкину, — вдруг успокоился и крепко уснул.

Утро было солнечное, румяное. Прежде всего решил зайти в книжный магазин Когиза; давно у него было задумано достать для Клинкина учебники и руководства.

— Мне нужен словарь рифм, основы стихосложения —

как писать стихи, сборники стихов Лермонтова, Пушкина, Есенина и Маяковского.

— Ого! — отовзался заведующий магазином. — Вы что же, из района?

— Нет, не из района. А что?

— Да так, очень много заказываете...

— Пойдите, пойдите! — вдруг закричал Удинцев. — А это у вас что? Айвазовский? И уже готовый? То есть я хочу сказать — вместе с рамочкой? Вот и Айвазовского возьму. Прямо в кассу?

Нагруженный покупками Удинцев пошел не к Клинкину, как намеревался вначале, а напрямик к Софье. Она уже успокоилась, приветливо провела гостя в комнату. Одета она была теперь не как рабфаковка. Удинцев заметил, что в домашнем она выглядит немного пестрой, и в комнате много пестрого, сборного, подумал почему-то, что вот такая обстановка и должна быть у обреченного растратчика.

— Ой, да я и не причесана!.. Чай будете пить? Посидите, я мигом слетаю, только хлеба принесу — в дэме ни крошки! — захопотала, забегала Софья.

На это Удинцев и рассчитывал, что он куда-нибудь уйдет ее. Как только она вышла, он взобрался на стул, быстро и ловко снял картину Айвазовского и повесил на ее место ту, что кушил в магазине, в точности такую же — «Девятый вал», пересадив к ней веревочку. Наверное, все в городе покупали этот «Девятый вал», и в одном и том же магазине Когиза! Вся эта операция заняла каких-нибудь три минуты. Снятая со стены картина была аккуратно завернута и даже элегантно перевязана шнурком, как было сделано в магазине. Удинцев внимательно пригляделся, все ли хорошо получилось, и остался доволен.

Софья принесла булочки, сдобу, и они очень мило позавтракали. Об отце Софья не вспоминала.

Удинцев показал ей портрет Василия Викентьевича, написанный в тюрьме. Софья вздрогнула, отодвинулась. Повернула к Удинцеву бледное, помертвевшее лицо и попросила:

— Спрячьте! Спрячьте, пожалуйста!

— Это вам. На память.

— Нет, нет, нет, что вы! Не хочу! Я спать не буду, у меня есть фотографические карточки.

— Да, пожалуй, вы правы, — быстро согласился Удинцев.

Вообще-то ему жалко было расставаться с портретом.

— Я и так каждую ночь дрожу, — вздохнула Софья. — Мебель трещит, обои шуршат, и мне все кажется, что там, у себя в кабинете, папа кашляет...

Встряхнувшись, вытерла две слезинки, достала из важного, как швейцар, буфета вино, закуски. Себе первой налила стакан портвейна и выпила залпом.

Все это было похоже на поминки.

Удинцев простился с ней и обещал навещать.

От Софьи Пойгиной он направился напрямик на Плотниковскую улицу. Ему посчастливилось: Клинкин был дома, сидел со своим семейством за столом, благодушеествовал, пил чай. Удинцеву стало неудобно, что он каждый раз попадает к ним во время еды.

— Как раз подоспели! — обрадовался Клинкин и придвинул Удинцеву стул.

Маша поздоровалась приветливо и не так дичилась, как в прошлые разы. Удинцев сразу же вытащил купленные им книги, и все вместе стали разглядывать их. Когда же Клинкин узнал, что все это предназначается ему, он всполошился, разволновался и никак не мог решить, можно принять подарок или следует его отвергнуть. Жена Клинкина только всплескивала руками:

— Да ведь это каких денег стоит!

— Мама! — остановила ее Маша. — Когда дарят, о цене не говорится.

— Правильно, дочка. Нам остается только благодарить! — шумно суетился обычно спокойный Клинкин, — Но вообще-то получается тово... не совсем складно! Вдруг — ни с того ни с сего, здравствуйте пожалуйста, — человек делает ценный подарок! За что? Почему?

— Ну, какой же он ценный! — возмутился Удинцев. — Ценно только то, что все это нашлось в магазине, этого я никак не ожидал.

Когда все книги были перелистаны, перетроганы и волнение постепенно улеглось, сели пить чай. И Удинцев пил чай, обдумывая, когда и как приступить к главному разговору.

Сразу после чая Маша попрощалась с гостем и ушла. Жена Клинкина собрала посуду и отправилась на кухню.

— А я ведь к вам по очень важному делу, — тихо сказал Удинцев и повторил: — Очень важному... Удобно ли это здесь?

Клинкин сразу понял, что разговор предстоит серьезный.

— Конечно, мы могли бы пойти в мой служебный кабинет, — сказал он спокойно и деловито, — но мне кажется, что нам и здесь никто не помешает.

Тут он захлопнул дверь, ведущую в кухню, а жену предупредил, чтобы дала им побеседовать. И без того тихая и бессловесная, она теперь и вовсе пришипилась. Клинкин застегнул все пуговицы френча, отодвинул чашку чая и каким-то другим, недомашним голосом предложил:

— Ну, что же, давайте выкладывайте.

Удинцев стал рассказывать все по порядку, и чем дальше продвигалось его повествование, тем все строже и сосредоточенней становился Клинкин. Когда речь зашла о портсигаре, Клинкин пробормотал:

— Видел я этот портсигар. Правильнее было отобрать, да он такие жалобные слова стал говорить — ну, думаю, леший с ним, пускай при нем останется, чтобы не подумал, что мы заримся на его золото.

— Я, вероятно, неправильно поступил, согласившись передать портсигар, но все произошло так неожиданно, что я не успел даже обдумать... и портсигар очутился у меня в кармане...

— И вы передали его?

— Дело в том, что случилось одно обстоятельство...

И Удинцев рассказал о том, как нечаянно обнаружил записку, и с этими словами положил записку перед изумленным Клинкиным.

— А вот и злополучный портсигар.

— Каков старичок? — сощурился Клинкин. — А ему еще поблажки всякие делали ввиду его преклонного возраста...

И сразу же вскочил и заторопился:

— Откладывать нельзя... Надо немедленно изъять картину... Вы поступили правильно, товарищ Удинцев, да я и с первой встречи понял, что вы за человек.

— Видите ли... — замылся Удинцев, — я, может быть, взял на себя лишнего...

— А что такое?

— Дело в том, что я принес эту картину...

— Что?!

Клинкин остановился перед Удинцевым и смотрел на него таким взглядом, что Удинцеву стало не по себе.

— Теперь уже непоправимо... но я вам все объясню...

— Поймите же, что вы так напортили, так напортили... Извините, но какой черт вас сунул...

— Чем же напортил? Ведь я повесил на стену в точности такую же картину... Я ведь не то чтобы просто взял и стянул вещицу...

Когда он подробно рассказал, как была совершена подмена «Девятого вала», Клинкин перестал сердиться. Сначала он улыбался, а потом просто смеялся до слез.

— Нет, вы мне еще раз, все с самого начала... Значит, купили в магазине?.. И потом пришли к Софье?.. Мы это немедленно запротоколируем... Ну надо ведь отколоть такую штуку! Только художник и мог натворить таких чудес! Вот что... пошли в управление, там и займемся Айвазовским. Ну-ну!

Еще через час они сидели в служебном помещении.

— Познакомьтесь, — сказал Клинкин, когда к ним вошел человек в военном кителе, галифе, поскрипывая сапогами, — это Николай Иванович, а это товарищ Удинцев, художник.

— Ага, — отозвался пришедший, протянул Удинцеву портсигар, сам закурил, уселся поудобнее, — так что у вас такое?

Клинкин довольно подробно изложил события, затем отошел к столу и принялся осторожно разбирать рамку картины, осматривая каждый ее уголок.

Удинцев с любопытством рассматривал человека в военном кителе:

«Вот они какие, чекисты!»

И хотя в пришедшем не было ничего сверхъестественного, Удинцеву он казался совсем особенным, непохожим на других.

Сначала он задавал Удинцеву вопросы, стараясь все уточнить, но затем не выдержал и тоже подошел к столу, где возился с картиной Клинкин. Время от времени они

радостно вскрикивали, доставая из выдолбленного в рамке тайника какие-то крохотные бумажки.

— Клинкин! Вызови Михаила. Срочно.

И тут же появился этот самый Михаил, пожилой, коренастый человек с мохнатыми бровями.

— А! — сказал он сразу же. — Шифры? Так-так... Покумегаем...

Уселся за стол и долго возился, делая какие-то пометки на отдельном листке.

Все происходящее восхищало Удинцева. Он сидел зачарованный, переводя взгляд с одного человека на другого.

Наконец тот, которого Клинкин назвал Николаем Ивановичем, возбужденный, сияющий, подошел к Удинцеву и стал трясти ему руку:

— Блестяще! Поздравляю! Толково! Переходите к нам работать!

Удинцев вспомнил, что Лойковский назвал его чекистом, и вздрогнул, — до того это его поразило.

— Зачем же к вам? — пробормотал он. — Я художник...

Подошел и второй, с мохнатыми бровями:

— Так это вы раскопали?

Удинцев улыбался, но не знал, что отвечать.

— Сами-то понимаете значение вашего поступка? Видите, что совершенно не понимаете! Вы помогли нам открыть то, над чем мы бьемся уже не один месяц: вы помогли раскрыть тайную организацию. Вот они — шифры, явки, адреса... Еще бы какой-нибудь день — и все это уплыло бы из наших рук, потому что, разумеется, о картине кому-нибудь известно, кроме Пойгина. А кому — теперь мы тоже выясним, когда придут за картиной. Ну, в дальнейшем мы сами управимся. А вам, уважаемый, спасибо, от всей души спасибо!

Подошел к Удинцеву и Клинкин:

— Здорово у вас вышло, ничего не скажешь! Ну и хитер старик! Ведь мы все обшарили, даже половицы поднимали... А забыл я, как сам когда-то на божнице прокламации прятал!

— Значит, вы не сердитесь, что я без всякой санкции скапал картину!

— Если бы не пришла вам счастливая мысль заменить картину, дело приняло бы другой оборот.

— А кто же такой Лойковский? — наивно спросил Удинцев.

— Вчера бы мы не могли на этот вопрос ответить с достаточным основанием. Но вот перед нами дешифровка. Все ясно как божий день. Враг, сукин сын! Вот же он — второй по счету в их списке!

Удинцев был поражен:

«Вот так номер! Уж вот не ожидал. Правда, он мне с самого начала был противен, но все же такого я никогда не думал!..»

Было за полночь. Клинкин, взглянув на часы, заторопился, захлопотал:

— Чего же мы держим человека? Некрасиво получается!

И обернулся к Удинцеву:

— Одним словом, все в порядке, идите отдыхайте, а то смотрите, сколько мы провозились... Да! Благодарю еще раз и за книги!

Они долго пожимали друг другу руки, потом Клинкин выписал пропуск и проводил Удинцева до двери.

Несмотря на поздний час, Борис Яковлевич не спал. У него была новость: знакомые знакомых Бориса Яковлевича очень дешево продают хорошее драповое пальто.

Сначала Удинцев испугался:

— Зачем пальто?

Тогда Борис Яковлевич объяснил ему, что, конечно, на худой конец и кожанок ладно, однако теперь Удинцев достаточно зарабатывает и может позволить себе купить и пальто, и шапку зимнюю.

Удинцев стал глубокомысленно обсуждать этот вопрос. Он говорил растроганным голосом:

— Борис Яковлевич! Борис Яковлевич! Мое мнение такое: с одной стороны — да, с другой стороны — нет.

Тогда Борис Яковлевич махнул рукой, на что-то решаясь:

— Э, была не была! Ни разу не пропускал службу, а на этот раз пропущу — пойду с вами завтра на примерку!

— Черт его знает... стоит ли? — мялся Удинцев.

— Нет, не черт его знает, а даже и не думайте спорить, пальто вам вот так, до зарезу необходимо! — и Борис Яковлевич показал на горло.

Едва Борис Яковлевич ушел, Удинцев свалился и уснул. Сны были нехорошие, путанные. То Удинцев с Со-

фочкой шли по улице, валил мокрый снег, и они целовались. То вдруг появлялся Лойковский, и Борис Яковлевич бросал в него новые пальто. Лойковский задыхался, а Борис Яковлевич приговаривал, подмигивая Удинцеву: «Необходимо! До зарезу необходимо!»

Наутро Борис Яковлевич властно постучал в дверь и повел Удинцева покупать пальто, не слушая никаких его возражений. Долго брели куда-то на окраину города, стучались, переговаривались через дверь. Когда впустили, опять долго переговаривались, расспрашивали, кто они, откуда, кто их прислал.

Наконец вытащили пальто, и в комнате сразу запахло нафталином. Хозяйка пальто — старушка, похожая на моль, — одергивала полы на Удинцеве, гладила их и хвалила.

Борис Яковлевич поторговался, но в рамках приличия, а пока Удинцев отсчитывал деньги, рассказал, как он прежде получал семьдесят пять рублей и хорошо жил на них.

Обратно Удинцев шел в новом пальто и там же купленной каракулевой шапке. Поразило его, насколько пальто теплее и тяжелее. Походка в нем делалась задумчивой, интеллигентной, а голова, сдавленная воротником, задиралась кверху, словно преисполняясь презрением к встречным курткам, шинелям и кожушкам.

— Хорошее пальто! Старорежимное пальто! Котиковый воротник... Два кармана... — приговаривал Борис Яковлевич и нарочно отставал, чтобы посмотреть на пальто издали. — Конечно, кожушок — это оригинально, но как хотите, а кожушок все-таки далеко не то, даже, знаете, не совсем прилично.

Удинцев неопределенно хмыкал и делал серьезный вид.

На следующий день пошел в новом пальто в Отдел народного образования. Там сначала не узнали, а потом обступили и щупали драп. И хотя покушку одобрили, но, кажется, чуточку сожалели о кожушке.

Удинцеву подумалось:

«Ты подарил городу картину, ты стал здесь работать и подошел им по бодрости, по смелости, хотя твои идеи были младенческим лепетом. Тебе обрадовались, но не вправе ли ожидать от тебя большего? Пора дать что-то еще, кроме декораций к «Пиковой даме». А ты отъелся

и перелез из кожушка в драповое пальто — только и всего. Что же дальше? Чем ты отблагодаришь город, который с таким радушием принял тебя? Ей-богу, никуда я, к черту, не поеду. Мне и здесь хорошо!»

Софья Пойгина решила уехать. Она жаловалась Удинцеву, что к ней вселили жильца, говорила, что все ей здесь постыло, что она совсем одна.

— Он каждую ночь приходит! — шепотом сообщила она.

— Кто приходит?

— Отец. Я слышу, как он открывает дверь, шаркает туфлями, крихтит, охает и направляется к себе, в свою комнату. Говорят, надо панихиду отслужить, если покойник во сне является. Уеду, уеду отсюда куда глаза глядят!

— Вы вещи хоть распродайте.

— Я уже и так кое-что на голкучку отнесла. Мебель новый квартирант покупает. Не хочется мне с этим возиться. Как-нибудь проживу.

Чуть-чуть тайло в тот день, когда Удинцев провожал Софью в Москву.

Перед тем как выйти из дома, Софья в последний раз обошла все комнаты. Вошла она и в комнату, где прежде помещался отец. Квартирант — молодой человек в штатском, но с военной выправкой — встал, когда они вошли.

Софья мельком оглядела стены, шторы на окне. Удинцев при этом заметил, что картина Айвазовского висит на прежнем месте: видимо, она пошла в счет мебели, приобретенной новым жильцом.

— Все, — сказала Софья. — Я уехала! Ясно? Счастливо оставаться!

— Благодарю! — ответил жилец.

Софья уже вышла из комнаты и опять вернулась.

— Товарищ! — сказала она, и голос у нее дрогнул. — А вам не снится это... покойник не снится?

— Нет, сплю хорошо, — чуть-чуть улынулся молодой человек. — Значит, уезжаете? В Москву, как я слышал? Пожелаю счастья!

Извозчик попался плохой, на чахлой, заморенной ло-

шадн. Всю дорогу на что-то жаловался, говорил обиженным голосом, а на вокзале стал ругаться и выторговал добавку «за плохой путь».

— Хорошо это — все с самого начала, все заново! — говорил Удинцев, когда оба сидели в буфете первого класса за длинным столом с вазами и канделябрами и нехотя ели, чтобы как-нибудь убить время.

— Признаться, страшновато ехать, — сказала, поеживаясь, Софья. — Город незнакомый, впереди неясно, я хоть и храбрюсь, а в душе-то трусиха страшная. Другое дело, если с кем-нибудь ехать, например, с вами... Не понимаю, вы-то чего тут торчите? Больше других надо? Больной человек, а сидите, как прикованный... этот, как его?.. Прометей.

— Мне нельзя. Морально нельзя. Долго объяснять, но просто не имею права. Недавно это понял.

— Мораль для маленьких детей выдумали, чтобы пугать. Маму надо слушаться, в носу ковырять грешно...

— Стало быть, у вас в Москве не у кого даже остановиться? — не принял вызова на спор Удинцев и перевел на другое разговор.

— Ни в Москве, ни вообще. Одна-одинешенька. А, да не стоит об этом, ерунда на постном масле! Раз я есть, значит, и место найдется, все найдется. Я об этом никогда не думаю, пусть лошади думают, у них голова больше.

Напротив за столом закусывал седой человек в дорожном, пахнущем резиной макинтоше. Уловив из разговора, что Софья едет в Москву, человек в макинтоше заговорил с ними, рассказал, что он доктор и тоже едет в Москву, в командировку.

— Вот вам и попутчик нашелся, — рассмеялся Удинцев.

Но Софья смотрела на доктора недружелюбно.

Доктор оказался необычайно разговорчивым и по любому вопросу хранил случай «из собственной практики».

Софья шепнула Удинцеву:

— Если бы он очутился в одном купе со мной, я бы на ходу выбросилась из поезда. Пулемет, а не доктор.

Доктор обсосал после пинцеля усы и сказал, пододвигаясь, потому что в зале стоял шум, говор и лязганье тарелок.

— Голод, половой, духовный и самый обыкновенный голод облагораживающе действует на человека. Человек,

который хочет есть, делается смышленным; человек, который хочет обладать, делается почти гениальным. Духовный голод пробуждает упрямую волю, дерзание, порождает Ломоносовых. Дразните аппетит и не ешьте до отвала — в этом искусство жить.

— А сами заказали вторую порцию, — поддела Софья, — ничего себе!

— Разве я вам сказал, что владею этим искусством? — возразил тот.

Пришел поезд, высыпали новые, незнакомые люди. Удинцев думал о том, какими интересными, свежими кажутся люди, которых привозят поезда. Смотришь на них и веришь: ну, эти-то сделают, эти сумеют! Дайте им доехать до мест назначений — экая мощная струя волнется в жизнь!

На платформе началось особенное движение и лихорадочная спешка, какая бывает перед отправлением поездов. Куда-то катили тележку с горой чемоданов, кто-то кого-то окликал, кто-то разыскивал кипятильник. Шагали кондуктора, кричали газетчики, и было за газетчиков неловко, что приезжим, новым людям они предлагали местную, вообще-то неважную газету.

Удинцев, заражаясь общей нервностью, подхватил Софью чемодан.

— У вас девятый вагон? Пошли к девятому вагону!

Когда длинный усатый железнодорожник подошел к колоколу, взялся за веревку и стал ждать какого-то осенения свыше, которое подскажет, когда надо ударить в колокол, Софья вдруг спохватилась, что не сказала чего-то, кажется, самого главного.

С тех пор как арестовали Лойковского, она ни разу не заговорила о нем. Удинцев не хотел начинать первым, так как пришлось бы врать, что он ничего не знает, а врать он не умел.

Только теперь, на вокзале, Софья наконец произнесла это имя:

— Нехорошо радоваться чужой беде, но когда Лойковского взяли, я словно пуд с плеча сбросила. Он меня как за горло брал. И вежлив, а смотрит как удав.

Удинцев напустил на себя равнодушные:

— Он мне все время не нравился, но я не думал, что в вам. Я думал, что вы поженитесь.

— Что вы! За кого вы меня принимаете! С таким коротышкой?! Впрочем, он предлагал мне с ним уехать. Он ведь уехать хотел, вы знаете? Уже и на другую работу перешел.

— А за что его посадили, как вы считаете?

— Я думала об этом. Кажется, у него с отцом были какие-то темные дела. А может быть, мне только казалось. Лойковский очень плохой человек, хуже, чем вы предполагаете.

— Ну и все, выбросьте его из памяти. Я себя подозреваю в том, что ревновал к нему вас.

— Вот как? — Софья пристально посмотрела на Удинцева. — А теперь с легкой душой меня отпускаете? Плы-ви, мой челн?

Удинцев был в затруднении, что ей ответить. В это время худощавый железнодорожник под колоколом вдруг выпрямился, просветлел и ударил два раза.

— Вы не воображайте, пожалуйста, это все я шучу. Но вот увидите — честное пионерское! — я стану совсем другая, я стану ужас какая хорошая. Я буду учиться, работать и вообще всего добьюсь. Не верите? И тогда... Чем черт не шутит, может, еще встретимся? Хотя едва ли. А? Едва ли?

И тут Софья со свойственным ей ухарством выкрикнула:

— Поцелуемся?!

Поцелуй у них как-то не получился. При ее возгласе многие оглянулись на них с любопытством, и Софья смутилась.

Поезд тронулся, по перрону бежали запоздавшие и вскакивали на ходу.

— Прощайте! — крикнула Софья с подножки вагона. — Нет, не прощайте, а до свидания! Возьму да на первой же станции выйду и вернусь обратно! Ха-ха-ха-ха!

Удинцеву вспомнились многие, с кем повстречался за последнее время: Клинкин... чекисты... даже милейший Борис Яковлевич с его коробкой табаку... Хорошие все люди, и Удинцев очень их всех полюбил.

Вагоны замелькали мимо синими, желтыми полосками. Удинцев хотел думать о Софье, а вместо того из тумана выплывало Машино озаренное серыми глазами лицо.